

Петр Боборыкин

Жизнерадостный скептик



Петр Дмитриевич Боборыкин

Жизнерадостный скептик

«Есть два Ренана: один – полулегендарный, другой – настоящий, реальный, оставшийся в памяти тех, кто имел случай хоть немного знать его. И вряд ли конец нашего века создал еще одну личность, где бы между нравственным обликом человека, сочиненным в известных сферах, и его живым, неподдельным типом, было так мало соответствия...»

Содержание

Петр Дмитриевич Боборыкин Жизнерадостный скептик (Из воспоминаний о Ренане)	0004
I	0005
II	0013
III	0019
#5	0031
#6	0032

Петр Дмитриевич Боборыкин
Жизнерадостный скептик
(Из воспоминаний о Ренане)

Есть два Ренана: один – полулегендарный, другой – настоящий, реальный, оставшийся в памяти тех, кто имел случай хоть немного знать его. И вряд ли конец нашего века создал еще одну личность, где бы между нравственным обликом человека, сочиненным в известных сферах, и его живым, неподдельным типом, было так мало соответствия.

Ренан был для католического духовенства не простым грешником, а отщепенцем, предателем. Ведь он воспитался в семинарии!! Он – своего рода Конрад Валленрод. С детских лет вкусил он от теологической мудрости. В семинарии подготовили его к работе экзегета. Такие вещи не прощаются даже и в лагерях, где безусловно не царит догмат.

До самой его смерти (а ведь он жил почти 70 лет), кто бы о нем ни говорил в печати, дружелюбно или враждебно характеризую его, непременно намекал или прямо указывал на то, что в нем чувствуется *семинарист*, что он сохранил и облик и обхождение католического патера, несмотря на свой явный

бунт против предания, что по складу своей души, по оттенку в направлении мышления он все-таки отзывается тем тяжелым казенным зданием около церкви св. Сюльпиция, где квадратная площадка украшена статуями великих церковных ораторов Франции...

Что же мудреного в легендарных наветах скандального характера, зашипевших вокруг личности Ренана? Когда я в первый раз попал в Латинский квартал, еще очень легко было, живя среди студентов, молодых ученых и писателей, очутиться в воздухе довольно горячих прений по поводу книги Ренана, остающейся до сих пор его главным патентом на многовековую известность. И тогда уже мне приводилось слышать от собеседников (враждебно, по-якобински смотревших на католичество) о подробностях его частной жизни, каких можно ожидать только от непримиримых врагов.

По этой части вы можете всегда и везде наблюдать характерный общественно-психический факт. Человек выступил с чем-нибудь прямо симпатичным для всех, кто разделяет известные воззрения; он своей книгой, пропа-

гандой или социальной борьбой необычайно двинул вперед признание дорогих им принципов. Будь он их товарищ по школе, воспитывайся он с детства в безразличной сфере, люди этого лагеря будут всегда защищать его гораздо искреннее и горячее, чем если бы он по первоначальному своему воспитанию *мог попасть во враждебный лагерь.*

То же замечал я еще в то время, во второй половине 60-х годов, в толках о Ренане тогдашних моих сверстников по Латинскому кварталу, хотя обаяние его имени было очень высоко; сознание важности того, что он предпринял, гораздо ярче и острее, чем теперь. Он был для молодежи в последнее пятилетие Второй империи одним из самых крупных вожаков свободомыслия. От него не требовали радикальной политической программы; знали и тогда, что он мирится с политическим режимом, так как еще 10 лет перед тем принял место при казенном учреждении, при *императорской* публичной библиотеке, а позднее был назначен одним из верных слуг Наполеона III, министром Дюрюи, профессором в *College de France.*

Правда, из-за скандала, устроенного ему клерикалами, он тотчас же вышел в отставку, но все-таки мирился с тогдашней властью, которая в лице министерства народного просвещения выказывала себя гораздо шире по общему направлению, чем часть молодежи, подстрекаемая старыми клерикалами и устроившая Ренану знаменитую демонстрацию 2-го февраля 1862 года.

Все знали также, что Ренан вместе с Сент-Бёвом и некоторыми профессорами и писателями того десятилетия – обычный гость «Пале-Рояля», где жил принц Наполеон. Этот убежденный отпрыск бонапартова дома всегда был поддержкой цезаризма, несмотря на свои якобы республиканские чувства. Но *тогда* принц Наполеон находился в постоянной дворцовой оппозиции. Его считали свободным мыслителем; он терпеть не мог императрицы и ее испанского ультрамонтанства; вместе со своей сестрой, принцессой Матильдой, он ставил себя просветительным меценатом; в их салонах собиралась тогда не чисто политическая, а *литературно-идейная оппозиция* всему, что пропитано духом обску-

рантизма.

Но и в то время в кружках, где мне привелось бывать, на Ренана смотрели уже как на скептика-эпикурейца, в душе которого остался осадок туманного спиритуализма. Строгим научно-философским мыслителем не считали его даже и более юные мои сверстники. Но самый определенный взгляд на него в этом смысле нашел я в кружке позитивистов, группировавшемся вокруг старика Литтре.

В 1867 году был основан журнал «La Philosophie Positive» с Литтре во главе, по инициативе и при материальном участии нашего соотечественника (отчасти даже москвича) Г. Н. Вырубова.

Теперь эта эпоха кажется уже *очень давней*, хотя ей минуло всего четверть века. Было бы занимательно и полезно восстановить ее физиономию. Здесь я могу коснуться ее только попутно.

Последние годы Второй империи останутся для людей моей генерации, живших тогда в центре европейского движения, светлой памятью, и, мне кажется, не потому только, что все это *было*, и великий наш поэт обмолвился

простым и вечным афоризмом: «Что пройдет, то будет мило...»

Теперь принято считать даже и конец Второй империи удушливым, смрадным временем. Любой француз-патриот будет повторять вам фразы о растлевающем действии бонапартизма, доведшего Францию до разгрома 1870 года. Гнет и гниль этого режима чувствовали и тогда на левом берегу Сены все те, кто не мирился с ним и работал над возрождением Франции. Не в виде заговоров и политической агитации делали они это, а не переставая проводить траншеи во имя знания, философской мысли, нравственного и общественного идеала, подготавливали путь тем, кто так легко, в один день, почти в несколько минут, с трибуны Законодательного Корпуса провозгласил династию Наполеонидов падшей и на ее место посадил опять изгнанницу во фригийском колпаке.

И что же! Тогда, в эти пять последних лет седьмого десятилетия, в Латинской стране Парижа дышалось гораздо лучше, чем двадцать лет спустя, не потому, чтобы было больше политической свободы. Нет! Но все мыслящее и

честное готовилось к борьбе, служило идее; не было, как теперь, разъедаемо самодовольным сенсуализмом, слащавой метафизикой или презрительным равнодушием к тому, что на парижском жаргоне называется: «les grands dada» [1] .

И рядом с нетленной, вечной обителью знания и мышления на том же левом берегу Сены роились ульи, где пробовали свои силы бойцы политической арены. Знаменитый *Кафе Прокоп* уже несколько лет как не существует. Теперь надо брать гида, хорошо знакомого с местностью, который привел бы вас к тому дому, где внизу, в помещении кофейной, не прекращалась мозговая жизнь в течение более века, где витали тени великих будильников прошлого столетия с пылким говорунном Денизом Дидро на первом плане. В мое время в *Кафе Прокоп* приходили тогда совсем еще неизвестные молодые люди: студенты, адвокаты, медики, журналисты, художники. За одним из столов по вечерам раздавался пылкий, как бы дымящийся говор южанина с итальянским типом, тогда еще бедного, начинающего адвоката и репортера заседаний Пала-

ты. С ним на одном из холостых понеделньи-
ков у Франсиска Сарсе познакомился я по по-
воду желания этого южанина узнать что-ни-
будь о двух русских деятелях, интересовав-
ших его: Каткове и Николае Милютине. Это
был Леон Гамбетта, уже и тогда вожак моло-
дежи Латинского квартала. Ни он, ни те, кто
верил в его звезду, не принадлежали прямо к
кружку Литтре, но считали его своим учите-
лем и свое сочувствие разделяли между ним
и Ренаном, сознавая всю разницу их душев-
ных обликов.

По четвергам у Вырубова собирались его сотрудники вечером на чашку чаю. неизменно являлся старик Литтре: низкорослый, плечистый, морщинистое лицо старой няньки; всегда в просторном сюртуке, с огромною цилиндрическою шляпой в руках. Он садился также неизменно у камина, около стола, смотрел хмуро и разговаривал спокойно, низким тихим голосом. В половине одиннадцатого выпивал он чашку крепкого чая, и как только на камине пробьет одиннадцать, вставал, брал свой колоссальный цилиндр и с общим поклоном удалялся.

И вот в этих-то беседах Литтре я впервые стал знакомиться с личностью Ренана, прежде чем увидал его и попал к нему в кабинет, что случилось уже, как вы найдете ниже, в самые последние годы.

Литтре, еще до избрания его во Французскую академию, был ближайшим товарищем Ренана по другому отделению Института, по так называемой «Академии надписей и изящной словесности». По пятницам Литтре ходил

В Институт, и там они часто вступали в прения с Ренаном, разбирая происхождение разных слов французского языка. Оба считались и были глубокими знатоками его, Литтре, как составитель знаменитого «Словаря», имел даже больший авторитет. Он любил писать отделанным и точным языком; сам считал себя стилистом, но вряд ли смотрел на себя как на такого же даровитого *писателя*, как Ренан.

Помню, в один из этих четвергов Литтре, не поднимая голоса, все с тем же добродушно-хмурым видом, своеобразно выпятив свои большие губы, стал нам передавать подробности спора, завязавшегося между ним и Ренаном по поводу одного слова на букву F. Кажется, это было слово *fistule* – фистула.

– Видите ли, – обратился ко всем нам Литтре глазами из-под нависших старых бровей, – слово это еще в начале семнадцатого века произносилось и писалось совершенно иначе, так что трудно даже сразу увидеть, как из него вышло нынешнее *fistule*. Его писали и выговаривали: «*flestre*».

А Ренан отстаивал противное мнение насчет того пути, каким произошло превраще-

ние одного слова в другое. В этой беспристрастной передаче видно было, однако ж, что знаменитый коллега Литтре по Институту отстаивал свои взгляды очень горячо, что натура его была противоположна натуре Литтре: один – спокойный холерик, другой – шумный сангвиник. Тогда я уже прошел через обаяние языка Ренана, его чудесного тона, музыки его периодов, живости и образности характеристик и описаний. Но я представлял себе его совсем иным, похожим на его портреты лет тридцать тому назад, сколько помню, работы фотографа Надара, где он снят еще почти молодым, с крупным, значительным и бритым лицом, с выражением спокойным и уравновешенным.

У моих позитивистов, особенно в более молодом обществе, не было, как я заметил, культа личности Ренана-мыслителя. Они считали его и до сих пор считают не без основания только свободомыслящим деистом, стряхнувшим с себя ярмо католического правоверия. И тогда уже повторяли они при всяком подходящем случае, что у Ренана *нет настоящего мировоззрения*, что его скептицизм проник-

нут совсем не научным духом. Заслугу его они ценили высоко, но только как человека с огромным талантом, пробивающего брешь в крепость клерикализма с помощью своих специальных познаний, где, однако, он как историк не поднимается еще до приемов *высшего социологического исследования*, не перестает быть поэтом, романистом, великим мастером изящного слова.

Пред писателем, пред знатоком и артистом в деле языка и стиля все они преклонялись. Я находил даже, что это преклонение шло несколько дальше, чем следовало бы для *позитивистов*, у которых сравнительный метод изучения должен быть в почете, а и в то время нельзя было сказать, что язык Ренана стоял безусловно выше языка таких его предшественников и сверстников, как Виктор Гюго, в прозе – Флобер, Мишле, Тэн и др.

Незадолго до войны, когда политический воздух Парижа уже был насыщен разрывными газами, я попал на публичное сборище в помещении Зимнего цирка, данное от какого-то литературного общества. Повод был, кажется, благотворительный, но подкладка все

та же: громкое заявление принципов религиозного свободомыслия и политической свободы. Ренан произносил вступительную речь. Тут я увидел и услышал его в первый раз. В громадном цирке, сидя где-то наверху, очень высоко, в двойственном свете полусумерек и газовых рожков, я не мог отчетливо рассмотреть его лица. Может быть, этому мешало и волнение, которым была охвачена многотысячная толпа. Прием, оказанный Ренану, показывал, что его ставят наряду с тогдашними вожаками оппозиции, сочувствуют ему не меньше, чем «поэту-солнцу», доживавшему тогда дни изгнания на своем острове...

Из галереи третьего яруса я видел на эстраде уже пожилого человека с бритым полным лицом священника, во фраке и белом галстуке; довольно длинные волосы серебрились, заметно было и брюшко. Совсем не таким представлял его я себе по складу фигуры и абрису лица; зато голос подходил к его печатному языку: гибкий, ясный, сочный, с манерой хорошего актера, играющего симпатичные роли благородных отцов и резонеров, без излишней сладости, с переливами, где звучал

порою энтузиазм, умеряемый добродушной иронией и жизнерадостным скептицизмом.

Не требуйте от меня, чтобы я передал содержание этой речи. Говорю прямо: я его не помню. Вы ее, конечно, найдете в одном из томов его сочинений. Но ее выполнение сохранилось во мне. Говорил не политический деятель, не строго-научный мыслитель, а гуманист, влюбленный в родной язык, идеально настроенный аналитик и вместе поэтический изобразитель высших стремлений души человека...

Прошло более пятнадцати лет. Франция конца 60-х годов принадлежала уже истории. Рухнула империя, укрепилась республика; умер Тьер; слянял Мак-Магон, собиравшийся наградить Францию королем Генрихом V; не стало и Гамбетты, промчавшегося по политической арене с такой же быстротой, с какой генерал Бонапарт очутился цезарем, а генерал Буланже опереточным агитатором...

Мои наезды в Париж, где я не был целых семь лет, с года Коммуны до выставки 1878 года, сделались опять довольно частыми, но краткими. Во второй половине 80-х годов зашел я раз, по старой памяти, в тот дорогой для меня College de France, куда в течение пяти зим хаживал на лекции многих профессоров, теперь уже большею частью покойников. С тех пор Ренан из ошиканного и оски-станного клерикалами лектора превратился в первое лицо этого единственного в мире *просветительного* учреждения, куда всякий прохожий – будь он француз или китаец, знаменитый ученый или неуч, блузник, оборванец,

солдат, нарядная дама – могут входить в любую аудиторию и где давным-давно в самых больших залах отводится для женщин почетная трибуна вокруг кафедры.

Ренан был уже заслуженный профессор, не по выслуге лет, а по исключительному положению в литературе всего мира. Он занимал кафедру еврейского языка и словесности и был вместе с тем директором *College de France*, где и жил.

Случилось так, что в Петербурге, в редакции одной газеты, меня просили побывать у него – по поводу сотрудничества весьма близкой ему особы, посылавшей свои парижские письма под прикрытием мужского псевдонима. Но прежде мне захотелось познакомиться с преподаванием Ренана хотя бы и задним числом, послушать его вблизи, присмотреться к его натуре и темпераменту.

Занимая пост директора, Ренан читал в одной из самых плохих аудиторий. Ее, наверное, помнит кое-кто из моих сверстников или молодых людей, бывавших там в последнее время, если они посещали лекции и уроки славянских языков: когда-то – старика Алек-

сандра Ходзько, а теперь – Луи Леже, которого я видал у Ходзько еще начинающим слушателем, с забавным русским произношением. В этой же аудитории, если не ошибаюсь, читает и Гастон Парис, занимающий кафедру еврофранцузского языка после своего отца Полена Париса, милейшего старца, проходившего с нами текст средневековых книжек, вроде, например, «Roman d'Antioche», причем он давал нам мягким, благодушным тоном старого рапсода объяснения каждого слова рыцарской эпохи, вроде слов: «moult» [2] или ласкательного «ma mie» [3].

В этой аудитории и двадцать пять лет тому назад, и теперь собирались и собираются слушатели особого рода: два-три молодых ученых, какой-нибудь старичок священник, пожилой господин из дилетантов и непременно несколько дам, более пожилых, чем молодых, скорее англичанок, чем француженок; в последнее время с примесью русских.

В эту аудиторию входят прямо из нижних сеней.

Служитель с цепью на груди и в черной бархатной шапочке указал мне на дверь. Из-

за нее уже раздавались раскаты голоса: я немного опоздал. В аудитории нашел я человек до двадцати, сидевших вокруг длинного стола, точно в классе; некоторые держались в сторонке, у окон правой стены. Комната так невелика, что ближе к входу было тесно. У дальней стены – доска. Между доской и стеной расхаживал Ренан.

Я попадал на один из его «разносов». Он кого-то распекал тут же на лекции. В нескольких аршинах расстояния он от полноты казался очень небольшого роста; лицо жирное, с двойным подбородком, и в ту минуту красное от охватившего его полемического припадка.

Если он похож был на французского священника в партикулярном платье, то уж никак не на медоточивого и осторожного семинариста. Он весь пылал и кипятился, и раскаты его сильного и сочного голоса так и потрясали стены убогой аудитории. Держа небольшой томик в руках, он ни одной минуты не оставался на месте; забегал то направо, то налево вокруг стола, как будто накидываясь на своих слушателей и слушательниц. Иностран-

нец, не понимающий по-французски, подумал бы, что он на них кричит.

А кричал он не на них, а на какого-то немца, своего соперника по еврейской литературе и специально по комментариям Псалтири, которую он в ту минуту и объяснял. Фамилию этого немца и еще каких-то других германских ученых произносил он, разумеется, на свой лад. Один из них особенно раздражал его.

– Это чистая софистика! – восклицал Ренан, грузно двигаясь в тесном пространстве. – Это очевидная недобросовестность; можно сказать, передержка, где автор только формально прав, а не по существу, в чем вы, mesdames et messieurs [4], убедитесь сами!..

И тут потекли не менее бурные доказательства того, что многоученный немец толкует все вкривь и вкось.

На иной взгляд, этот горячка-старик, похожий на ожирелого расхोдившегося церковного старосту, держал себя уже слишком шумно и размашисто; но такая энергия и искренность, если бы они даже были и смешноваты, делали для вас тотчас же личность Ренана бо-

лее простой и близкой. Контраст между изящным стилистом и задорным сангвиником, разносившим какого-то соперника-немца, несколько не умалял его личности; напротив, показывал только, что в Ренане до самой смерти рядом с потребностями писателя-художника и тонкого идеалиста жил темперамент борца, упорно защищавшего то, что ему принадлежало в области положительного знания. Припомним, что ему было тогда уже под *шестьдесят пять* лет, а так пылко, с таким натиском полемизировать вслух, не щадя живота своего, — впору хоть и юноше. Он не священнодействовал с профессорским олимпийством; он жил всем своим существом перед слушателями и втягивал их в дымящийся сосуд своей интеллигенции. Такое преподавание трудного древнего языка может всякого заохотить, помимо уже обаяния имени лектора.

На мою записку о позволении навестить его, он ответил тотчас же и просил меня к себе в квартиру, помещавшуюся во втором этаже здания College de France, в дообеденный час.

Помещение это состоит из ряда высоких, несколько узковатых комнат, почти сплошь заставленных тогда шкапами с книгами. Вторая или третья комната служила ему кабинетом, где он сидел у стола, прислоненного к окну. Я уже не нашел задорного старика, разбившего немца-соперника. Тут вступил в права свои другой Ренан, известный каждому, кто встречался с ним и беседовал: необыкновенно мягкий, со старинной ласковостью, какая образуется во Франции разве у высших прелатов в преклонном возрасте. Гостя своего он выслушивал, точно тот сообщает ему вещи, особенно ему близкие и занимательные. Многие в Париже нападали на Ренана за это благодушие, видели в нем преднамеренность и хитрость; позволяли себе даже возгласы вроде: «Это – слащавый поп!» или: «Настоящая Лиса Патрикеевна».

Я с этим не согласен, и не потому, что знаменитый ученый принял весьма мало ему известного русского писателя так, как в нашем отечестве – говорю это смело – не принял бы его первый попавшийся журналист средней руки или чиновник, даже и не считающий се-

бя особой. Я не нашел и никакой сладости в том, что и как говорил Ренан. У меня не было ни малейшего намерения «интервьюировать» его, но разговор, затянувшийся на добрый час, коснулся целого ряда литературных идей и задач. Не хочу восстанавливать его от себя. А тогда я не записал этого разговора, в чем и прошу извинения у читателя. Необычайно благородный и мягкий тон не мешал несколько Ренану высказываться по каждому вен просу совершенно ясно, в полном соответствии с тем, что он считал правдой и красотой, чего желал для своей родины, над чем работал весь свой век.

И вот эта-то *работа*, громадная, на две трети сухая по своим материалам, но облекаемая им в обаятельную форму, как бы сквозила через все поры его головы. Он, как всякий француз, очень охотно сообщил мне и о тех трудах, которые были у него, по французскому выражению, «на верфи» – *sur le chantier*. Он желал жить подольше, чтобы довести до конца прежде всего свою «Историю израильского народа». И, кажется, он довел ее до самого конца. Для каждого из нас, русских, при-

мер такой душевной молодости в старом и тогда уже ожирелом теле – вдвойне драгоценен. Предо мной сидел специалист с европейской репутацией, сверстник и соперник немецких ученых, и не стыдился говорить о своих чисто литературных опытах с таким содержанием, как тогда уже напечатанная «*Abbesse de Jouarre*». И зачем стал бы он совеститься даже и такой разговорной драмы, написанной на тему о всемогущей власти страстной любви? Если он стариком мог одушевиться таким сюжетом, тем лучше для него.

Будь я духовидец, знай я вперед, что в текущем году Ренана уже не станет, я бы нарочно навестил его в прошлом мае, чтобы сообщить отрывок из моего, также продолжительного, разговора с Элеонорой Дузе здесь, в Москве, в начале января. Говоря о своих попытках освежить итальянский репертуар, она рассказала мне, как, заехав в Болонью, увидала в витрине книжного магазина экземпляр этой самой «Жуарской игуменьи», купила книжку, прочитала ее в один присест и воспылала желанием играть заглавную роль. На другой день под теми же аркадами встре-

тила она своего друга, известного писателя Панкацци, и призналась ему. Он так восхищался ее мыслию, что они тут же на улице расцеловались...

Великий писатель Франции, сошедший на днях в могилу, не хотел и на старости отказывать себе ни в каких духовных наслаждениях. Скажем ему за это сердечное спасибо. Простим ему и то умственное эпикурейство, о котором любили в последнее время распространяться не одни его враги, но и почитатели. Он не был аскетом, отзывался на приманки популярности и сочувствия, желал сохранить бодрость и жизненную радость; может быть, и злоупотреблял таким символом веры. В Париже большая известность не обходится без постоянных приглашений и ухаживаний в светской сфере. Ренан охотно попадал в столовые и гостиные, где его ублажали. Один русский вивёр передавал мне якобы подлинную фразу Ренана, с которым он был приглашен на обед к одной светлейшей княгине. В курительной комнате, за кофеем и ликерами, Ренан, рассевшись на турецком диване, сладко вздохнул и сказал:

– C'est egal! Il est doux de vivre a une époque de decadence! [5]

Незадолго до смерти он начал испытывать и горечь популярности. Молодые писатели, из тех, у которых при таланте и вкусе гораздо больше эпикурейского скептицизма, чем у Ренана, стали в печати подшучивать над его душевным самодовольством и неуместным будто бы жизнерадостным оптимизмом. Всего чувствительнее покалывал его критик-драматург Жюль Леметр, забывая то, что он сам по своему умственному складу может считаться прямым потомком Ренана.

Как раз за несколько дней до посещения директора College de France я был у Жюля Леметра. Он заинтересовал меня к тому времени тонкостью своего критического чутья. Но в этом недавнем еще учителе гимназии, выскочившем в парижские модные писатели, я нашел настоящего умственного сластолюбца, у которого, несмотря на большие критические и литературные способности, нет твердых научно-философских принципов. И не таким эклектикам «себе на уме» уличать Ренанов в умственном жуирстве и недостатке пря-

моты. Жизнерадостный скептик не стал, добившись известности, разменивать себя, как они, на красивую и мягко-ехидную газетную болтовню, а неустанно работал над многолетними трудами, согретыми преданностью своему делу и высотой задачи. Каждому из тех, кто подхихикивал над Ренаном, можно пожелать сначала сделаться таким писателем, которых Франция хоронит под сводами Пантеона.

Примечания

1

любимый конёк (*фр.*)

2

много, зело (*фр.*)

3

моя милая (*фр.*)

4

дамы и господа (*фр.*)

5

Все равно! Сладко жить в эпоху декаданса!
(*фр.*)